



БОЛЬШОЙ КРУГ

АЛЕКСЕЙ ГОРБАЧЕВ

Алексей Горбачев

Большой круг

<https://litres.ru/74318234>

SelfPub; 2026

Аннотация

Человек рано или поздно задаёт себе важные вопросы. Возможно, есть люди, которые их себе не задают. Я — задал.

Кто такой человек? Что такое космос и что находится за его пределами? Существует ли что-то высшее, наблюдающее за нами? Есть ли судьба? Кто я? Меня много или мало?

Человек не может быть без вопросов, и когда они есть, он уже не может быть без ответов на них. Чтобы просто быть, нужна опора.

Сам себе на эти вопросы я ответил. Ответил лет десять назад. Ответил и записал.

Ответы не равно истина. У них есть параметры — время, место, обстоятельства. Так лучше. Без ответов на важные вопросы жить сложнее.

Или проще?

Содержание

Большой круг	5
Пролог	5
Глава 1. 1300 год	9
Глава 2. 1998 год	21
Глава 3. 2034 год	40
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Алексей Горбачев

Большой круг

Большой круг

Алексей Горбачев

Большой круг

Пролог

Давно ничего не происходило.

Не «давно» даже — просто не происходило. Время идёт там, где что-то меняется, а здесь меняться нечему: всё, что можно понять, понято, и понимать больше нечего. Остаётся смотреть. Смотреть можно бесконечно. Бесконечно и приходится.

Всё живое тут понятно наперёд. Трава тянется к свету, вода ищет, где ниже, зверь на склоне голоден и оттого предсказуем. Оно длится, ощущает, тянется — и ничего не решает. Есть на что смотреть, и нет ни одной задачи. От этого делается тихо — не снаружи, снаружи ветер, — а так, что скоро просто станет нечему быть.

Одно место в долине выпадает.

Их тридцать семь. Это известно точно, потому что считать приходится не людей, а места, где ничего не чувствуется. Трава чувствуется. Вода, камни, зверь, крик в зарослях, ветер — всё это понятно и всё это одно. Тридцать семь — нет. В них не заглянуть, и потому они — единственное непонятное во всём, что видно.

Пока их можно только созерцать. Зацепиться мыслью не

за что.

Сегодня охотники ушли далеко.

Зверь идёт к стоянке — крупный, чуждый этим местам, голоден, а голодный зверь понятен насквозь. Он слышен весь, до шага. А охотников не слышно вовсе: о них можно судить только по тому, как ложится трава и как замолкает живое там, где они прошли.

Похоже, успели. Известие об опасном звере принесли не словами, а тем, как вбежали, — и племя разом собралось в единое целое, тёплое, встревоженное, завалило вход и долго слушало темноту. Врозь тут не живёт никто: каждый жив ровно до тех пор, пока живо целое. Это они делают не думая — как дышат.

Опасность ушла, а они не расходятся.

Кто-то говорит у огня — с повторами, показывая руками, как шёл зверь и откуда чувствовался его запах. Остальные слушают. А потом на стене появляется знак. Углём, ко-со, неумело: зверь и рядом черта.

Стоп.

Всё остальное перестаёт быть. Долина, склон, вода, камни, ветер над лесом — ничего этого в моменте нет; остаётся одна точка на камне, и смотреть на неё почти больно, потому что

так давно уже не на что было так смотреть.

Ещё раз. Вот это — углём по камню.

Не царапина и не след от удара. Линия проведена там, где задумана, и рука, ведя её, заранее знала, где остановится. Тот, кто рисовал, отступил на шаг, поглядел — и поправил. И остальные смотрят туда же: не в темноту, откуда всю ночь доносилось что-то угрожающее, а на камень, где нет ничего, кроме того, что они там видят.

Знак переживёт того, кто его оставил, и того, кто завтра его увидит. То, что случилось однажды с этими тридцатью семью, теперь может случиться с теми, кого ещё нет.

И тогда всплывает то, о чём незачем было помнить. Что-то очень похожее уже было — не здесь, не с ними и так давно, что называть это началом не имело смысла: начало бывает у того, что куда-то идёт.

Они сидят теснее, чем нужно, чтобы всем хватило тепла. Им хорошо вместе — так хорошо, как не бывает поодиночке; будто страх поделили на всех, и он стал меньше. Что-то, им пока непонятное, уже связывает их друг с другом — и с теми, кого ещё нет.

Друг друга они пока не слышат. Что делается внутри каждого — не разобрать: ни им самим, ни всему остальному. Но нужда уже есть, и они решают её как умеют — голосом, руками, углём по камню.

Круг у огня. Тридцать семь по окружности, знак на стене за спинами, темнота снаружи.

Не конец, к которому всё шло. Место, которое уже проходили.

Неужели это и есть первые шаги?

Глава 1. 1300 год

В тот год все шли в Рим.

Дорога была забита паломниками — их гнал юбилей и отпущение, обещанное всякому. Они двигались на юг сплошной вереницей, с палками и котомками, и Лоренцо шёл им навстречу, один, на север, и каждый встречный оглядывал его как человека, идущего не в ту сторону.

Он и шёл не в ту сторону. Он шёл уже четыре года — не в место, а за тем, чего не сумел бы назвать даже себе.

Он бы остановился, если бы мог. Он пробовал. Целый год после смерти брата он не спрашивал никого и ни о чём и чуть не сошёл с ума от собственного молчания. Пустота, оставшаяся, когда не стало Джулио, не заросла, как зарастает всё, — она стояла в нём такая же, как в первый день, только уже без слёз. И была одна вещь, которую он однажды почувствовал и о которой не мог перестать думать: если она была правдой, то его брат не ушёл, где-то он есть.

За этим он и ходил по чужим городам, за этим расспрашивал чужих людей. За этим пришёл и сюда.

За этим он и был арестован.

Комната была маленькая, с одним окном во двор, и пахло в ней чернилами и мокрым камнем. У окна за столом сидел

писец и правил перо. Судья не сажился.

— Имя.

— Лоренцо ди Джованни да Вольтерра.

— Полностью.

— Так и есть полностью, мессер.

Писец обмакнул перо, и от этого простого звука у Лоренцо похолодело внутри. Пишут. Всё, что он скажет, останется.

— Ваш возраст?

— Тридцать шесть.

— Как давно вы находитесь во Флоренции?

— Месяц.

— В юбилейный год все идут в Рим. Вы пришли в обратную сторону.

— Я шёл не в Рим.

— Это я вижу. — Судья прошёл к окну и встал так, чтобы свет падал на лицо Лоренцо, когда тот на него смотрел. — Мне сказали, что вы ищете близнецов и расспрашиваете их об их мысленной связи или духовной. Это правда?

Вот оно. Про души.

Он знал, чем это пахнет. Не первый год ходил, наслушался, что бывает с теми, кого об этом спрашивают в такой вот комнате. Соврать было легко. Соврать было бы разумно.

— Правда, — сказал Лоренцо.

— Сколько уже?

— Четыре года.

— Сколько человек?

— Одиннадцать пар. Двенадцатая не стала со мной говорить.

Перо шло по бумаге ровно, без остановок.

— Зачем?

— У меня был брат.

— И?

— Джулио. Мы родились в один час.

— Умер?

— Пять лет назад. Упал с лесов, в Вольтерре, на соборной стройке.

Судья кивнул — не сочувственно, а как человек, отметивший записанное.

— Вы говорите, ходите четыре года. А он умер пять лет назад.

— Да.

— Что вы делали год?

— Горевал, мессер. — Лоренцо искал слово. — Горевать перестал. А пустота не ушла. Я думал, зарастёт. Не заросло. Тогда и пошёл.

— Расскажите про руку.

Лоренцо поднял голову.

— Мне и про руку доложили, — пояснил судья. — Рассказывайте.

Это было задолго до собора, им было лет по девятнадцать.

Он нёс мешки от повозки к складу и был от Джулио в добрых полутора тысячах шагов, за стеной и за поворотом улицы, когда остановился посреди мостовой, потому что у него загорелась ладонь.

Не жгло — покалывало, тонко и часто, как будто в кожу разом вошло множество мелких игл, и по этим иглам изнутри пошёл жар. Он поставил мешок и повернул руку к свету. Ладонь была своя, серая от пыли, с мозолью под пальцами. На ней ничего не было. Он подул на неё зачем-то, вытер о рубаху, постоял, ожидая, что пройдёт. Оно прошло само, как проходит затёкшая нога, и он понёс мешок дальше и до вечера ни разу об этом не подумал.

Вечером Джулио пришёл домой с обмотанной левой рукой. Ошпарился у котлов, где выпаривают рассол. Перед полуднем, когда снимали пену.

— Левая, — сказал судья.

— Левая.

— У вас какая горела?

— Правая. — Лоренцо не запнулся. — Я её к свету поворачивал, я помню, в какой руке был мешок.

— Значит, не та же рука.

— Не та же.

— В котором часу он обжёгся?

— Перед полуднем.

— А у вас когда жгло?

— После. За полдень уже. Часа через два, может, три.

— Стало быть, и час не тот.

— И час не тот.

Он сказал это и стал ждать, что теперь его перестанут слушать. Он знал, как это звучит: другая рука, другой час, полторы тысячи шагов — путаница, бред человека, которому нужно, чтобы чудо было. Проще всего было бы назвать ту же руку и тот же час. Он давно понял, что так было бы складнее, и давно решил, что складно врать не станет, потому что тогда от того, что было, не останется вообще ничего.

— Не сходится, мессер, — сказал он. — Ни рука, ни час. Я это знаю лучше вашего, я это уже много лет прокручиваю в голове.

Судья посмотрел на него иначе — коротко, будто сверил с кем-то, кого помнил. Перо на столе остановилось и снова пошло.

— Вы говорите, полторы тысячи шагов. Не пятьсот.

— Полторы. Я потом ходил и считал.

— Считали?

— Дважды, мессер. В разные дни.

— Зачем?

— Чтобы знать точно.

Судья помолчал.

— Дальше.

— Дальше ничего. Я об этом забыл. Вспомнил через две-

надцать лет, когда он упал.

— Что было тогда?

Лоренцо помедлил. Это он рассказывал редко.

— Стало нехорошо. Не больно, а пусто — как будто из меня вынули что-то, чего я до того не знал, что оно во мне есть. Я стоял на рынке у мясных рядов. Не сел, дурно не сделалось, — просто стоял и не мог вспомнить, за чем пришёл. А потом за мной прибежали.

— В котором часу?

— К девятому. Мне сказали — к девятому он упал.

Судья кивнул писцу, тот перевернул лист.

— Итак, в час его смерти вы почувствовали в себе убыль.

— Я не говорил «в час смерти», мессер. Часа я не знаю. Я сказал: стало пусто, а потом за мной прибежали.

Судья коротко, впервые, усмехнулся.

— Так и запиши, — сказал он писцу. — Как он сказал.

— Всё очень плохо, мессер? — вдруг сказал Лоренцо. — Как будто всё, что я говорю, делает мне только хуже...

Судья не ответил. Он отошёл к окну и заговорил мягче, и от этой мягкости стало хуже, чем от вопросов.

— Скажите мне вот что. Как по-вашему: душа появляется вместе с человеком?

— Не знаю, мессер. Об этом судить не могу.

— Отчего же?

— Кроме моих собственных ощущений у меня нет никакого другого ориентира. Я никогда не чувствовал человека, который ещё не родился. И не думаю, что это можно почувствовать. Про это я ничего не знаю.

— А про что знаете?

И Лоренцо ответил — как делал всё в своей жизни, не оглядываясь.

— Я могу рассуждать только про живого брата. Пока брат был жив, я его чувствовал. Рука тогда — это был он. А когда его не стало, я почувствовал, как это ушло.

Он помолчал, будто сам впервые это складывал.

— А раз я почувствовал, как ушло, — значит, всё это время что-то было. Не только в те два раза. Всё время, только тихо, так что я и не замечал. Выходит, мы с ним и не были совсем по отдельности.

В комнате стало очень тихо. Слышно было, как во дворе капает вода.

Лоренцо поднял глаза на судью, увидел его лицо — и понял, что сказал.

Он побелел.

— Мессер, я не то хотел...

— Довольно. — Судья повернулся к писцу. — Что записано — оставь. Дальше не пиши. Ступай.

Писец вытер перо, посыпал лист песком, поклонился и вышел. Дверь закрылась.

— Пойдёмте на воздух, — сказал судья, не оборачиваясь.

— Здесь душно.

Во дворе было прохладнее. Слуга принёс разбавленного вина и ушёл. Судья сел, и Лоренцо, помявшись, сел тоже.

— То, что вы сейчас сказали, — проговорил судья, — говорят не сами. К этому приходят с чужих слов: кто-то научит, кто-то даст прочесть. Я весь допрос искал, кто научил вас.

— И что же?

— Никто. — Судья отпил. — Вы у меня такой второй.

Он не стал объяснять, и Лоренцо не понял, хорошо это или плохо.

Вечерело. В городе, один за другим, начали бить колокола.

— А там? — спросил судья через некоторое время. — После?

— Что «там», мессер?

— Вы сами сказали — что-то было между вами всё время, только тихо. Пусть так. А что происходит после смерти?

Лоренцо какое-то время думал над вопросом.

— Мне бы очень хотелось думать, что после смерти ничто никуда не исчезает и что я ещё встречу Джулио. — Он говорил медленно, будто щупал дорогу впотьмах. — Но я думаю другое. Больше похоже, что остаётся не сам Джулио, а память о нём — как он жил, что чувствовал, о чём думал.

Память не исчезнет. А что с ним можно будет поговорить — в этом я очень сомневаюсь.

Он был. Этого не оспорить — ни пока он был жив, ни теперь, когда его нет. И то, что он был, не изменится никогда.

Судья долго молчал.

— Мессер?

— Ничего. — Судья потёр лицо ладонью. — Вино в этом году кислое. Не удался год.

— Теперь слушайте, — сказал судья, когда стемнело и принесли свечи. — О вас идёт молва. Не донос, не свидетель — молвы довольно для обвинений. Вас спросят один раз, для порядка, и вы ответите так же, как отвечали мне, потому что иначе не умеете. И вот этот ваш ответ и запишут — будто душа не заперта в теле человека, — его вам и зачтут.

Лоренцо молчал.

— Вы сказали — второй, — проговорил он наконец. — Значит, был первый.

— Был.

— Что с ним стало?

— Ему поверили, — сказал судья. — Его не гнали и не смеялись над ним. Выслушали и поверили. Это его и погубило.

Он посмотрел на Лоренцо.

— Вы четыре года ходите и просите, чтобы вам поверили.

Молитесь, чтобы не поверили.

— Я не могу перестать, мессер, — сказал Лоренцо. — Я пробовал. Тот год без поисков ответов чуть не убил меня. Словами того, что было, не рассказать, а не искать я не могу. Даже зная, чем это кончится, я не останавлиюсь.

— Я знаю, — сказал судья. — Потому и говорю с вами так.

Он встал — резко, не по годам — и велел Лоренцо покинуть город как можно скорее. Об этом разговоре — никому и никогда: ни другу, ни на исповеди, ни через десять лет за вином. Меня здесь не было.

Лоренцо дал слово и вышел на улицу. Паломники всё шли, вниз, к воротам, на юг; в темноте видны были только палки да белые пятна котомок.

Он повернул в другую сторону.

Судья вернулся в комнату с одной свечой.

Он не питал надежд. Этого человека уже не спасти: молвы довольно, его возьмут, он ответит ровно так же — правду, потому что врать о ней не станет, — и этой правдой сам себя и погубит. И не остановится: Лоренцо не лгал, когда говорил, что не может остановиться. Такого не переубедишь и не запретишь. Такого изводят целиком, вместе с рукой, которой однажды сделалось горячо на шумной улице.

Человека не спасти.

А то, что он принёс, — можно.

Судья давно это понял, ещё с первого случая. Мысль живёт, пока есть в ком жить. На бумаге она не жилец: лист отберут, сожгут, запретят переписывать, а если не сожгут — с ним заспорят и переспорят, и через одно поколение от него не останется ничего, будто и не было. Единственное, что переживает своего носителя, — это мысль, успевшая перейти в другого прежде, чем носителя не стало.

Значит, надо, чтобы перешла.

Лист лежал на столе, присыпанный песком: имя, возраст, Вольтерра, одиннадцать пар, левая рука, правая рука, полторы тысячи шагов, девятый час. Улика, которой хватило бы на костёр. И вместе с тем — единственная запись того, что было.

Судья прочёл её целиком. Дважды. Потом ещё раз, шевеля губами, как учат наизусть.

И поднёс к свече.

Бумага занялась с угла. Он держал её, пока огонь не подошёл к пальцам, бросил на стол и смотрел, как чернеют и сворачиваются строки, проступая на миг светлее, прежде чем исчезнуть совсем. Улики больше не было. И записи больше не было. Осталось только то, что он унёс в себе.

Через одиннадцать дней, в саду за городом, он повторил эти слова вслух — одному человеку. Не судье; тот занимался другим и умел придать услышанному такую форму, что её уже не отнять и не сжечь. Судья не назвал ему ни Лоренцо, ни Вольтерры, ни солеварни.

И оно осталось.

Глава 2. 1998 год

Томас был её единственным ребёнком, и ей его не хватало. Он сидел в своей комнате в двенадцати шагах от неё, и его как бы и не было.

Мария вернулась с работы и, не раздевшись, уже минут двадцать сидела на диване в гостиной, глядя на противоположную стену.

С Томасом она уже перепробовала всё.

Она говорила с ним спокойно и по-взрослому, как советуют в книжках, — он соглашался и ничего не менял. Она кричала — он замолкал и уходил в себя. Она пробовала заинтересовать его другими занятиями: сплавила на бейсбол, записала в бассейн, оплатила поездку с классом. Она пробовала подкупить, пробовала пристыдить, пробовала не замечать неделю. Она жаловалась на жизнь подругам. Подруги говорили: дура, у тебя здоровый умный мальчик, работа, за тобой ухаживают, тебе завидуют, а ты не ценишь.

Знали бы они, чего стоит всё это. Всё держится только на ней, вернее на ее работе, и совершенно неважно, какая у тебя зарплата, если она вся уходит на ежемесячные расходы. Это жизнь на износ, без права на передышку, и остановиться нельзя.

И все, без исключения, считают долгом ей что-нибудь по-советовать.

Дверь в его комнату была закрыта. Он знал, что она этого не выносит.

Мария поднялась и постучала.

— Мам, что?!

— Я могу зайти?

— Да.

Он не повернулся. Что-то быстро дописывал.

— Ты сегодня был в школе?

— Мне не обязательно ходить туда каждый день. Я договорился с учителями: если у меня всё сделано наперёд по теме урока, можно не приходить.

— И ради чего? Чтобы весь день сидеть здесь за компьютером? Ты не занимаешься спортом, не гуляешь, ты сидишь и портишь зрение.

— Мам...

— Ты всё делаешь ради того, чтобы ничего не делать.

— Я не «ничего не делаю».

Томас понял, что отговорками не обойтись. Он дописал строку, отодвинул клавиатуру и повернулся вместе со стулом — всем видом показывая, что к допросу готов.

Мария это тоже проходила не раз. Ей самой была противна роль сварливой матери, которая только и умеет, что ругаться с собственным ребёнком.

— Тебе четырнадцать лет, и ты целыми днями в интер-

нете общаешься с людьми, о которых не знаешь ничего. Ни кто они, ни сколько им лет, ни зачем им хочется общаться с мальчиками твоего возраста.

— Я давно не маленький. В чём дело?

— Да ни в чём! Дело в тебе. У тебя нет никакой жизни, кроме этой комнаты.

— А кто решает, какая жизнь бывает? Ты чем занималась в четырнадцать?

— Мы читали книги. Гуляли. Разговаривали. И всё это с живыми людьми.

— А я что делаю? — Он привстал. — Они такие же живые. Я их знаю лучше, чем соседского придурка Эда и его брата-придурка. Из всех, кого я знаю в этом городе, человек пять, с кем мне есть о чём говорить. Остальным интересно только кто с кем подрался и кто с кем целовался. Даже когда речь про компьютеры, у всех это только игры.

— Как будто ты не в игры играешь сутками.

— Не только. Мне интересно, как сделаны сайты. Я учусь писать программы, которые работают через сеть. Я хочу знать, что вообще можно из этого сделать...

Мария на секунду замолчала.

Она смотрела на него и понимала, что не понимает ни одного слова из того, что для него важно, и что он это видит.

— Как мать я была бы куда спокойнее, если бы ты интересовался девочками и иногда дрался. Я требую, чтобы ты ограничил время за компьютером.

— Господи. Ты меня вообще не слышишь.

Эту фразу она в последнее время слышала отовсюду. От него, от подруг, от начальника, от самой себя в три часа ночи.

— Значит, так, — сказала Мария. — Чтобы мы наконец начали друг друга слышать.

Она встала.

Он смотрел на неё снизу вверх, ещё ничего не понимая.

Она не бросилась к столу. Она обошла его — медленно, по дуге, мимо кровати, мимо полки с книгами, — так обходят препятствие, а не человека. Наклонилась за системным блоком, где в углу была розетка.

— Ты что делаешь?

Она нашла вилку и потянула.

Экран погас сразу, будто его выключили изнутри. А вентилятор в блоке стихал ещё несколько секунд — он снижал ход постепенно, всё тише и тише, и, когда он остановился окончательно, в комнате стало слышно холодильник на кухне.

Томас не двинулся. Он сидел на стуле вполоборота, с открытым ртом, и смотрел не на неё, а на чёрный экран, как будто фотографируя в памяти то, что секунду назад там было, а сейчас уже нет.

Она отсоединила второй конец шнура от блока. Смотала его в кольцо. Руки делали это сами и делали слишком акку-

ратно.

— Можешь сидеть здесь после школы сколько хочешь, — сказала она. — Но к моему приходу с работы компьютер будет выключен. Шнур я буду оставлять на столе перед уходом. Раз слов ты не понимаешь, будет вот так. Потом ещё спасибо скажешь.

Она говорила это, глядя не на него, а на погасший экран.

У Томаса в горле застряли слова, так и не вышедшие наружу. В глазах предательски заблестело. И обида, и злость, и несправедливость. Он вскочил, задел плечом дверной косяк и, спотыкаясь, выбежал из дома на задний двор.

Мария постояла ещё немного в его комнате.

Потом ушла к себе и только там, сев на кровать, обнаружила, что всё ещё держит в руках шнур.

На заднем дворе у него был домик на дереве, куда он забирался с книжкой или просто чтобы побыть одному. Он просидел там до полуночи. Потом вернулся к себе и лёг не раздеваясь.

Наутро он ушёл раньше обычного — пешком, не дожидаясь автобуса, лишь бы не сидеть дома. На физике его о чём-то спросили, он даже что-то ответил и получил какую-то оценку. Какую, он не обратил внимания. Мысли его были не на уроке. Ни с кем не заговорил. Вечером его видели на школьном стадионе — сидел один на трибуне, ел гамбургер, запи-

вал колой, смотрел на пустое поле.

Домой вернулся в двенадцатом часу, прошёл к себе и запер дверь.

Полоска света под дверью держалась примерно до часу.

Мария после ссоры плохо спала.

Весь следующий день на работе она делала что-то на автопилоте и почти ни с кем не разговаривала. Мысли бросало из крайности в крайность. Ей хотелось, чтобы он наконец задумался. Он умный, но он не видит и на шаг вперёд. Если сейчас ничего не изменить, он вырастет замкнутым очкариком без друзей и без семьи, а общество жестоко: оно вытолкнет его на обочину. Даже если он устроится в приличную фирму вроде её собственной, самое большее, что ему светит, — целый день бегать по кабинетам и чинить компьютеры людям, которые получают в разы больше. К нему так и будут относиться — как к прислуге.

Она хотела бы для него другого. Колледж, финансовый профиль, к двадцати пяти хорошая должность. Она сама прошла этот путь на ощупь и знает, где там ямы.

Она уже даже видела карточку: Томас Лэнг, аналитик, номер корпоративного телефона, факс, электронная почта.

Фамилия у него была отцовская. Больше от отца ничего не осталось, и Мария уже давно перестала считать это несправедливым.

До того как у него появился свой компьютер, он ходил к ней на работу.

Началось это от безвыходности — не с кем было оставить на каникулах, — а потом он стал проситься сам. Она усаживала его в углу за пустующее рабочее место, за которым с весны никто не сидел, и поглядывала на него между заявками. Он не скучал ни минуты. Ко второму разу он знал в лицо всех, кто заходил в кабинет, и знал, кто из них чем занят: этот считает, эта звонит клиентам, а вот эти двое ходят с отвёрткой и меняют картриджи в принтерах. Кто-то из отдела сказал ей тогда: слушай, а мальчик у тебя толковый. Она весь день ходила счастливая.

В прошлом году, на тринадцатилетие, он попросил компьютер.

Тогда она даже обрадовалась. Она и сама сидела за компьютером каждый рабочий день, следила по нему за котировками и отправляла через E*TRADE поручения на покупку и продажу, и хорошо помнила, что ещё несколько лет назад всё это было уделом странных людей, говоривших на непонятном языке. Сын потянулся туда, где будущее, — что может быть лучше.

Они поехали в ближайший Fry's и провели там больше часа. Характеристики казались ей бессмысленным набором букв и цифр, инопланетным шифром. Продавец полчаса подводил их к самому дорогому «Макинтошу» в магазине — плоскому, на подставке, с колонками, выпущенному к

юбилеею фирмы; он и правда выглядел как гость из будущего среди одинаковых серых ящиков и стоил втрое дороже. Мария почти согласилась — просто потому, что он был красивый.

Спас положение Томас. Он задал продавцу несколько вопросов на том самом непонятном языке, чем заметно того смутил, а потом спокойно показал на неприметный серый ящик, ничем не отличавшийся от соседних. Продавец с уважением одобрил выбор и даже забыл, что должен продать то, что подороже; он принялся рассказывать Томасу про какие-то дополнительные возможности этой машины, и Томас слушал его как равный равного.

По дороге домой сын не умолкал. И объяснил свой выбор так, что она запомнила: важно не то, какой компьютер красивее или мощнее, а то, чтобы у как можно большего числа знакомых были такие же. Тогда всегда есть у кого спросить, если что-то сломается.

То есть для него ценность машины измерялась тем, сколько людей сидит за такими же.

Она тогда впервые поняла, что его внутренний мир больше, чем она думала. И подумала: какой же он уже взрослый.

После того дня рождения он ни разу не просил взять его с собой на работу.

Мария лежала в темноте и держала эту мысль.

В субботу он не вышел к завтраку.

Она с вечера, как и обещала, оставила шнур на столе у него в комнате. Из-за двери не доносилось ни стука клавиш, ни музыки, которую он обычно включал по выходным.

Тишина обернулась тревогой. Мария подошла к двери вплотную, боясь пропустить хоть какой-нибудь звук. Постучала.

— Томас?

Через долгие десять секунд она услышала шаги. Он открыл дверь, молча вернулся к кровати, лёг и взял книжку.

Она оглядела комнату.

Монитор смотрел на неё чёрным ящиком. Шнур лежал на столе там же, где она его оставила накануне, — смотанный, нетронутый, даже кольцо не размоталось.

Он не подключил его. Не потому, что не хотел, — хотел, ещё как. А потому, что подключить значило принять её условие, взять с её стола то, что она ему отмерила. На это он не пошёл. Лучше вообще ничего, чем так.

Непослушание она бы поняла. Это было холоднее непослушания, и от этого ей стало не по себе.

— Я приготовила завтрак. Сэндвичи с беконом и томатный сок, как ты любишь.

Она подождала ответа, на который не рассчитывала, и ушла на кухню.

Он пришёл минут через десять. Сел. Они ели молча, каждый о своём.

Он сказал дежурное спасибо, надел кроссовки и вышел на улицу.

Он побежал в сторону городского парка — сначала ровно, потом всё быстрее, будто от чего-то, — мимо одинаковых лужаек, мимо припаркованных машин, мимо школы. Вернулся только к обеду, мокрый насквозь и выжатый, и легче ему, судя по лицу, не стало.

В своей комнате он застал маму.

Она сидела за его столом перед включённым компьютером, обхватив голову руками. На экране была её рабочая программа, вокруг лежали бумаги и исписанные листы с расчётами.

Томас посмотрел на компьютер, потом под стол.

Она сама нашла розетку. Значит, вставала на колени и лезла туда с фонариком или на ощупь, между стеной и тумбой, где он сам всегда бился локтем.

Плечи у неё вздрагивали.

— Мам. Что-то случилось?

Мария вздрогнула, не оборачиваясь вытерла лицо ладонями и ответила дрожащим голосом:

— Да. Всё в полном порядке.

Из всего, что он держал в себе — злость, холод, обиду, —

вдруг стало не на что опереться. Мать плакала за его столом. Вынести это он не смог.

Он подошёл. Слов не было — были только не те, и он не стал их искать.

— Ну хватит... — вышло сипло, по-детски. — Мам. Ну перестань.

Он обнял её со спины и стоял так, неловко, не зная, что ещё сделать.

— Это ты меня прости, — сказала Мария. Она держала его руку у себя на плече. — Я в последние дни вся на нервах, на меня столько всего свалилось. Я очень устала. Мне кажется, я никогда из этого не вынырну.

— Работа?

— Работа. Всю неделю не могу сдвинуться с мертвой точки. К понедельнику от меня ждут аналитику по операциям за прошлый год, а ни один наш отчёт для этого не годится. Я звонила компьютерщикам, Саймону и Джефу, оба сказали, что новый делать не меньше месяца.

— Они не программисты, мам. Саймон картриджи меняет и принтеры возит, а Джеф — это который вам провода под столами тянул. Откуда они знают, что можно, а что нельзя?

— А к кому мне обращаться? Других у нас нет.

— Да не важно, кого знать конкретно. — Он придвинул второй стул. — Можно спросить в интернете.

— В смысле?

— Долго объяснять. Там есть люди, которые это умеют.

Попробуем?

— Пробовать можно что угодно. Я всё равно не успею.

Он сел за компьютер, посмотрел на её листы с расчётами и глубоко вдохнул.

— Расскажи в двух словах, что нужно.

Она рассказала: те же данные, что и в годовом отчёте, но по трём кускам года отдельно — до августа, когда сменился руководитель, потом до октября, когда поменяли ставки комиссии, и после. И отдельно по каждому отделу.

— Данные те же? В той же базе?

— Наверное.

Модем привычно заскрипел. Томас открыл Yahoo, набрал «форумы etrade отчёты обмен опытом», перебрал несколько ссылок и на одной задержался надолго, читая.

— Смотри, — сказал он наконец. — Твои цифры лежат в базе, к которой Excel сам подключаться не умеет. Тут человек написал штуку, что-то вроде собственного коннектора, и готов поделиться ею со всеми желающими. Я ему написал.

— Ты написал незнакомому человеку.

— Ну да.

— В субботу.

— Ну да, — сказал Томас. — Пойдём чаю попьем.

Они не успели дойти до кухни. Компьютер коротко звякнул.

От: thunder@yahoo.com Тема: Коннектор к OracleDB

Вложение: oracle_dbc.zip

Привет, бро!

Лови аттач. Пользуйся на здоровье :) Надеюсь, как настраивать, объяснять не надо :)

Thunder.

Мария прочитала это дважды.

— Он что, просто взял и отдал?

— Ага.

— А ему за это что?

Томас пожал плечами. Вопрос показался ему странным, и он не нашёлся, что ответить.

Настройка заняла у него пару минут.

— Логин у тебя «m.summers». Пароль?

— Постой. А это законно?

— Мам, ты под этим логином и так заходишь в ту же базу с работы. Системе без разницы, с какого компьютера. И подключение только на чтение, мы ничего не испортим.

— Ладно. «Thomas24091984».

Он застыл на секунду.

— Моё имя и мой день рождения. — Он фыркнул. — Мам, это худший пароль на свете. Его любой угадает за минуту.

— Какой есть.

Объяснять, почему именно худший, он не стал — но по лицу было видно, что он мог бы прочитать ей целую лекцию и что ему стоит большого труда не начинать это. А она смутилась: и оттого, что попалась, и оттого, что паролем у неё стояли его имя и день рождения, — а он теперь это знал.

Через несколько секунд таблица начала заполняться строками, и строки всё шли и шли. Томас собрал сводную таблицу и стал её настраивать. Мария, ещё не видя ни одного описания, безошибочно назвала ему нужные поля для фильтров.

— Слушай, а ты быстро схватываешь, — сказал Томас, и в голосе мелькнуло что-то вроде уважения. Потом не удержался: — А Саймон с Джефом, значит, месяц.

Он расставил поля по столбцам и строкам, и на экране появились цифры годового отчёта — те самые, что лежали у неё на столе распечатанными.

Он показал ей подготовленные фильтры — по датам, по отделам, по людям, по типам операций — и уступил место.

Прошло полчаса, которых она не заметила.

Нужные отчёты она сделала за несколько минут и не смогла остановиться. Она сравнивала свои сделки с чужими и с фирмой в целом. Она смотрела, откуда на самом деле пришла прибыль, и обнаруживала, что это совсем не те направления, о которых все говорят на планёрках.

После азиатского кризиса и августовского обвала весь рынок ломанулся в интернет-компаниях, и её фирма вместе со всеми — это было видно в таблице невооружённым взглядом. Но из тех же цифр выходило и другое: по новым, никому не известным компаниям сектора доля чисто спекулятивных сделок была на порядок выше, чем по крупным. Люди покупали не бизнес, а движение цены.

Она отфильтровала один только этот сектор и развернула его по компаниям. Потом взяла карандаш и на обороте распечатки выписала в столбик всё, что там было.

Вычеркнула тех, у кого под акцией не стояло ничего, кроме обещаний. Вычеркнутых оказалось много.

Осталось четыре имени: Amazon, Microsoft, Dell, AOL.

Она посмотрела на список, потом на вычеркнутое — и провела по вычеркнутому ещё одну черту, поперёк, чтобы наверняка.

Мария откинулась на спинку стула.

В понедельник это надо нести руководству. Все последние месяцы фирма только и обсуждает, куда перекладываться, и она принесёт им готовый ответ.

Или не в понедельник.

Мысль пришла сама, спокойная и деловая, как все её рабочие мысли: сначала закрыть собственные позиции, а потом уже нести. Разница в два дня. Никто не заметит и никому ей не повредит.

Она отодвинула эту мысль в сторону — не отбросила, а

именно отодвинула, чтобы вернуться позже, — и оглянулась.

Томас всё это время сидел рядом и смотрел на неё, чуть улыбаясь.

Она вдруг поняла, что выпала из времени и не знает, сколько его прошло. И что у неё в руках оказалось то, чего у неё никогда не было: свободные выходные и слишком много сил.

А ещё она поняла, что всё, что она сейчас делала, лежит за границей, которую она за сорок лет ни разу не переходила и о существовании которой не подозревала.

А для него никакой границы нет.

Она не стала прятать от него слёзы радости. Он не стал делать вид, что не заметил.

Ближе к вечеру они сидели в плетёных креслах на заднем дворе. У неё был бокал красного, у него кола.

— У меня к тебе много вопросов, — сказала Мария.

— А я думал, один.

— Может, и один. А может, миллион. Скажи: это всегда так просто?

— Во-первых, не просто. Во-вторых, не всегда. — Он подумал. — Иногда я неделями ищу ответ и не нахожу. Тогда я всё равно где-нибудь пишу, что мне нужно, — вдруг кто-то знает и захочет рассказать. Сегодня нам повезло, готовое лежало.

— Я это как-то иначе себе представляла. Провода, связь между машинами. Как телефон.

— Это да. — Он повертел банку в руках, поскрёб ногтем этикетку и покосился на мать. — Только не смейся.

Мария изобразила, что запирает рот на замок.

— Я как будто спрашиваю мудрую сову из сказки. Она знает всё на свете и отвечает. Хочешь книгу — вот книга, хочешь решить задачу — вот решение, хочешь поговорить — пожалуйста. И как в сказке: чтобы получить, надо очень точно знать, чего ты хочешь, и правильно спросить.

— Сова, — повторила Мария.

— Ага. Только она с каждым днём знает всё больше. Даже если я брошу школу и буду только читать всё, что появляется в интернете, я всё равно не буду успевать за новым.

— А ты чего хочешь? — спросила Мария. — Не сегодня. Вообще.

Томас подумал дольше, чем она ожидала, и ответил, глядя не на неё, а на банку в руках:

— Чтобы спрашивать было проще. Сейчас необходимо знать что спросить, где спросить, и уметь искать, и ещё повезти должно. А надо, чтобы просто спросил — и всё, и получил ответ.

Он сказал это и как будто застеснялся, что сказал.

— И это всё, чего ты хочешь?

— Ещё теперь я хочу когда-нибудь увидеть thunder'a. — Он допил колу. — Просто посмотреть, какой он. Мне пока-

залось, что мы с ним очень похоже понимаем, куда и как должен развиваться интернет.

Мария тоже подумала о человеке по имени thunder, которого никто из них никогда не видел и который в субботу утром отдал незнакомому мальчику то, на что потратил, наверное, месяц. И о том, что сын, выбирая компьютер, выбрал не машину, а людей за такими же машинами.

Она не стала это произносить. Она вообще ничего больше не сказала в тот вечер, и они так и просидели во дворе почти до полуночи.

В комнате у Томаса всё это время работал компьютер. Выключить его сразу никому в голову не пришло.

В понедельник она закрыла свои позиции — как раз на тех направлениях, которые ведущие аналитики считали самыми перспективными.

В фирме за такое увольняли в тот же день. Два года назад так уволили человека из соседнего отдела, и Мария тогда сказала, что правильно сделали.

В среду она отнесла аналитику руководству, и там ей были очень благодарны.

Через полтора года рынок сделал ровно то, что она увидела в ту субботу, и её список спас ей и её клиентам очень много денег.

Насчёт AOL она ошибалась.

Через два года она ушла из фирмы и основала собственный фонд. Фонд участвовал почти во всех крупных интернет-прорывах следующих двадцати лет — иногда рано, иногда слишком рано, но почти всегда раньше остальных, потому что у неё была карта, которой не было ни у кого: она знала, куда всё это идёт, ещё до того, как это становилось очевидным для всех.

Знакомым она объясняла свой уход усталостью и желанием работать на себя.

О субботнем дне она не рассказывала никому и никогда — ни про сову, ни про человека, отдавшего задаром незнакомому ребёнку свою работу, ни про то, что после этого дня уверовала во что-то, чему у неё не было названия.

И про понедельник тоже не рассказывала. Особенно Томасу.

Глава 3. 2034 год

Мысль была стройная, и Зои додумывала её с удовольствием.

Всё, что люди придумывают, рано или поздно уходит в одном из двух направлений. Либо в политику — то есть к тому, чтобы одни люди могли что-нибудь сделать с другими. Либо в прогресс — то есть к тому, чтобы люди в принципе могли больше, чем вчера. Третьего направления нет. Изредка кто-нибудь один делает что-то только для себя, ни к чему не относящееся и никому не нужное, — но и это в конце концов утекает либо туда, либо сюда. Само по себе не остаётся ничего.

Кроме воды.

Вода остаётся, потому что её нельзя вписать в отчёт за месяц и потому что Ари всё равно не придёт.

Это тоже показалось ей логичным. Дальше надо было объяснить про воду, и она стала объяснять, и объяснение было длинное и очень убедительное, только в нём почему-то участвовал коридор второго этажа, а по коридору нельзя было идти быстрее, чем читается вслух, иначе сбивался счёт. Счёт вела не она. Считали за неё, и считали неправильно, и это было хуже всего — что неправильно, а поправить нельзя, потому что она в коридоре, а они нет.

Потом стало важно, что двадцать восемь.

Потом — что надо успеть до того, как приедет мама, хотя мама умерла, и Зои во сне об этом помнила и всё равно торопилась.

Потом свет.

Она полежала с открытыми глазами.

Половина шестого. За окном ещё темно, но темнота уже другая, разбавленная.

Мысль, с которой всё началось, была умная — Зои это отчётливо помнила. Она помнила ощущение, с каким её додумывала: так бывает, когда сходится длинный расчёт. И не могла вспомнить ни одного её слова.

Что-то про два направления. Про то, что всё утекает.

Она попробовала восстановить картину и поймала себя на том, что уже думает про сегодняшний день, а про направления думать перестала, и перехода между этими двумя мыслями не было никакого — просто одна кончилась, а другая шла, и, наверное, шла уже давно.

Двадцать восемь ей будет в мае.

Она не знала, откуда это взялось.

Зои откинула одеяло и пошла в душ.

Машина забрала её без десяти семь и повезла сама.

Руль убирался в панель, но Зои его не убирала: держаться

за руль было не обязательно, а не держаться за что-нибудь она не умела. Ари когда-то сказал, что это единственное, что в ней есть от прошлого века. Она тогда обиделась, а теперь думала, что он был прав, только имел в виду что-то другое.

Город в этот час выглядел прилично. По обочинам стояли машины, ждавшие своих людей; люди выходили из подъездов и садились, и всё это происходило почти без звука.

На перекрёстке у выезда на трассу висел щит — из тех, что подстраиваются под взгляд. Зои посмотрела на него, и щит показал ей клинику: пожилая женщина сидит в кресле и улыбается, потому что теперь она снова всё помнит. Зои отвела глаза, и щит стал показывать что-то другое тому, кто ехал сзади.

Матери это уже не помогло бы. Матери не стало, когда таких клиник ещё не было, а были обещания, что они вот-вот появятся.

Половину пути Зои пыталась понять, почему ей это неприятно.

Не от щита. От того, что он угадал.

На парковке она посидела в машине ещё минуту.

Завтра в это время в зале будут стоять двадцать три человека, из них четверо из фонда, и им покажут, как испытуемый передаёт системе мысль, а система эту мысль показывает на экране. На один такой обмен уходит четверть часа.

Четверть часа. Намного меньше времени уйдет, чтобы написать информацию от руки и передать бумажку.

Зои взяла сумку и направилась к входу.

В холле былолюдно и говорили громче обычного. Так говорят, когда все делают вид, что ничего особенного не происходит, а происходит.

Стефан собрал их в девять, чтобы прочитать отчёт за месяц вслух. Он всегда читал вслух, считая, что так цифры доходят лучше.

Среднее время законченного обмена — четырнадцать минут сорок секунд. В прошлом месяце было двадцать две.

Доля обменов, доведённых до конца без повторной калибровки, — шестьдесят один процент. Было сорок.

Точность распознавания переданного образа — семьдесят четыре.

Стефан дочитал и обвёл всех глазами, ожидая чего-то вроде удовлетворения. Кто-то похлопал. Нора сказала, что за месяц минус семь минут — это очень прилично, и была права.

Зои смотрела в стол.

Семьдесят четыре процента означало, что каждый четвёртый образ приходит не тем, что отправляли. Четырнадцать минут означало, что за то же время можно написать записку от руки, дойти до соседнего корпуса и вручить её лично.

Ещё это означало, что завтра двадцать три человека будут вежливо смотреть, как взрослые люди четверть часа передают друг другу одно слово.

— Я доделала вторую развязку, — сказала она. — Если поставить её сегодня, к завтрашнему дню будет намного быстрее.

В рабочих материалах она называлась развязкой Тэлбот — первая, ещё прошлогодняя, тоже, и Зои до сих пор не привыкла видеть свою фамилию набранной в один ряд с обозначениями узлов.

— Или не будет ничего, — сказал Стефан. — Зои, у нас показ. Ставить накануне показа мы ничего не будем.

Он был прав, и она это знала ещё до того, как открыла рот.

— Кто приедет?

— Четверо от фонда. — Стефан помолчал. — И она сама.

По комнате прошло движение. Нора беззвучно присвистнула.

Джем пришёл к одиннадцати, как обычно, поздоровался со всеми за руку, как обычно, и, пока ему раскладывали сетку, рассказывал про соседа, который завёл собаку и не выгуливает её.

Он участвовал в опытах четвёртый год. Он знал процедуру лучше половины сотрудников и однажды даже поправил Нору, когда та перепутала порядок калибровки. Платили ему

за сеанс, и это была половина его дохода; вторую половину он получал за то, что раз в месяц сдавал свои показатели ещё в двух местах в городе. Таких, как он, брали охотно и держались за них.

Сетку положили ему на голову и промазали контакты. Джем закрыл глаза.

В соседней комнате Зои открыла монитор оператора.

Сначала информацию передавали ему. Вопрос кодировался и уходил стимуляцией — не словами, а последовательностью, которую он за четыре года научился разбирать примерно как человек разбирает почерк плохо пишущего знакомого. Вопрос был выбран заранее и был дурацкий: «что вы ели утром».

Джем усмехнулся, не открывая глаз. Значит, дошло.

Дальше он должен был держать ответ.

Это самая долгая часть. Система не берёт мысль целиком — она набирает её по кусочку, из повторов, отбрасывая всё, что не повторяется. Джем держал, система набирала. На экране у Зои кандидаты выстраивались столбиком и медленно менялись местами.

Через четыре минуты наверху стояло «хлеб» с уверенностью двадцать один процент, и рядом «хлев», «крем», «слева» — с примерно такой же.

Через девять — «хлеб» с сорока процентами.

Через тринадцать минут двадцать секунд система выдала: **хлеб.**

Стефан хлопнул в ладоши один раз. Нора записала время. Джем открыл глаза и сказал, что вообще-то ещё был кофе, но кофе он держать не стал, потому что просили одно.

Все засмеялись. Смеялись с облегчением: завтра сработает.

Зои осталась закрывать журнал.

Когда сеанс заканчивается, оператор чистит остаток — всё, что система набрала, но не признала. Обычно это мусор: обрывки, полуслоги, шум от мышц лица, случайные всплески. Мусор сбрасывают в архив и не смотрят.

Она посмотрела.

В отброшенном лежало то же, что всегда: части слов, куски ничего. Но одна строчка повторялась. Не два и не три раза — она повторялась двести с чем-то раз за тринадцать минут, ровно, как пульс, всё время, пока Джем держал свой хлеб.

Зои выделила её и прочитала.

Это было имя. Женское, короткое, из тех, что встречаются часто.

Она сидела и смотрела на это имя, и ей было понятно только одно: сознательно Джем его не передавал. Он передавал хлеб. Он старался и передал.

За стеной он как раз рассказывал Стефану про соседскую собаку.

Зои закрыла окно, потом открыла снова.

Спрашивать было нельзя. Не потому, что запрещено, — про это в правилах ничего не было, потому что никому не приходило в голову, что такое может понадобиться. Спрашивать было нельзя просто так. Вернее вопрос про имя нельзя было задать просто так без причины.

Она выделила строчку и отправила её в архив вместе со всем остальным мусором.

Потом переписала в свой блокнот время: тринадцать минут двадцать секунд.

И под ним — двести с лишним повторов.

К семи корпус опустел.

Нора зашла попрощаться и спросила, подвезти ли. Зои сказала, что посидит ещё немного. Нора посмотрела на неё чуть дольше, чем нужно, но ничего не сказала: за три года она усвоила, что «немного» у Зои означает до полуночи, и что переубеждать бесполезно.

Стефан уходил последним. В дверях он обернулся:

— Завтра в девять. Выпись.

— Обязательно.

Она дождалась, пока хлопнет дверь на лестнице, и ещё минут десять сидела просто так, слушая, как гудит вентиляция.

Потом запустила установку второй развязки.

Это заняло час двадцать. Она делала это спокойно и акку-

ратно, как делают вещь, которую уже решили сделать, и никакого волнения не испытывала. Волнение началось потом, когда всё установилось и надо было решать, на ком проверять.

На Джеме — нельзя. Джем придёт завтра к одиннадцати, и до этого код должен быть либо возвращен в исходное состояние, либо проверен, а проверять на человеке, который тебе доверяет, код, поставленный вопреки прямому запрету, — это уже не про сроки, а про то, кто ты и какие у тебя принципы.

Оставалась она.

Была ещё одна сложность, и Зои знала, что именно она и есть самая большая проблема.

В любом сеансе между по обе стороны сидит человек. Испытуемый держит мысль, система набирает, оператор смотрит на кандидатов, выбирает и вручную набирает ответ, ответ кодируется и уходит обратно. Оператор — это не только руки. Оператор — это пауза. Пока он читает и думает, что ответить, ничего не происходит.

Сегодня оператора не было.

Она могла бы сделать несколько обменов вслепую, сама себе набирая ответы, — и получить те же четырнадцать минут, только с бóльшим позором.

Или замкнуть контур: разрешить системе отвечать самой.

Зои сходила на кухню и выпила воды.

Технически это была одна строчка в настройке сеанса. Никакого запрета на неё не существовало — просто до сих пор ни у кого не было причины её трогать.

Она вернулась и поменяла строчку.

Сетку она надевала сама и провозилась дольше, чем рассчитывала. Передние контакты легли хорошо. До задних дотянуться было сложнее — она прижимала их вслепую, на ощупь, и в какой-то момент поняла, что делает это хуже, чем сделала бы Нора, и что это придётся учесть при дальнейшем разборе.

Гель был холодный.

Она поставила завершение сеанса на тридцать минут и проверила дважды.

Потом взяла лист бумаги, написала на нём время начала — 22:41 — и положила лист на стол, чтобы потом сразу было видно, если что.

Села в кресло. Джемово, другого в комнате не было. Закрыла глаза и запустила.

Первое, что она почувствовала, — насколько тихо.

Она приготовилась ждать. Ждать не пришлось.

Она подумала вопрос — и ответ уже был. Не пришёл, не

появился, а был: как бывает со словом, которое вертелось на языке и наконец нашлось, только находить не требовалось.

Она спросила ещё. Потом ещё. Потом дала задачу — из тех, что считаются часами, — и посмотрела на ответ, и ответ был верный, и она это откуда-то знала.

Она засмеялась. Кажется, вслух.

Потом стало трудно различать.

Вопрос и не-вопрос перестали отличаться. Всё, что у неё возникало в голове, уходило одинаково: и то, что она хотела спросить, и то, что просто подумалось, и то, о чём она никогда не спросила бы никого и вслух не сказала бы даже себе. Ей отвечали на всё. Ей отвечали быстрее, чем она успевала пожалеть.

Она подумала: стоп.

Ничего не остановилось. Мысль «стоп» ушла туда же, куда и все остальные, была принята и обработана, и следом уже шла другая мысль, и Зои поняла, что остановить это можно было бы, если бы у неё было чем. А нечем, потому что то, чем она хотела остановить, и было тем, что нужно остановить.

Она еще раз подумала: стоп. Стоп. Стоп.

Дальше время испортилось.

Она бы сказала — растянулось, но это неверно. Оно просто перестало иметь отношение к делу. Что-то заняло очень много времени, а что-то не заняло никакого, и это было не про долго и коротко.

А потом она начала вспоминать.

Не узнавать новое — вспоминать. Ей возвращали её собственное: лицо человека, которого она видела один раз в семнадцать лет и с тех пор ни разу не вспомнила; страницу, прочитанную мельком и закрытую; счёт, который она знала наизусть в первом классе. Ничего этого в машине не было и быть не могло. Всё это лежало в ней и до сегодняшней ночи было ей недоступно.

Машина не знала про неё ничего. Машина умела искать и считать — и искала в том, что ей давали. Давала Зои. Она давала всё подряд, не выбирая, потому что выбирать было нечем.

А складывалось — вдвоём.

Из миллиона кусков, половина которых лежала в машине, а половина в ней самой, собиралась картина. Любая, какую ни возьми. И собиралась быстрее, чем Зои успевала подумать, зачем ей эта картина.

Где-то там она перестала различать, кто из них двоих думает.

Не «кто-то появился» — появиться было неоткуда: комната пустая, контур закрыт, снаружи не подключено ничего. Просто она задавала вопрос и получала свой же ответ и не узнавала его как свой.

Так и шло время до утра.

Она была там совершенно одна.

И ей ни секунды так не казалось.

Нора приехала без десяти восемь и открывала корпус сама, потому что Стефан в этот день собирался быть к половине девятого.

Свет в операторской горел.

Зои сидела в кресле. Сетка была на голове, передние контакты держались, задние сползли и висели на проводах. Глаза закрыты, рот приоткрыт. На запястье и на шее пульс был.

На столе лежал лист бумаги, на нём от руки: 22:41.

Скорая приехала в 08:06. Давление в норме, сахар в норме, зрачки реагируют, на боль реагирует, в сознание не приходит. Врач спросил, что она принимала. Нора сказала, что ничего.

В 08:20 её увезли.

В 08:35 приехал Стефан. Он поднялся в операторскую, постоял в дверях, потом сел в соседнее кресло — не в то, в котором её нашли, — и минут пять ничего не говорил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.